



Вл. П. КРАНИХФЕЛЬД

**М. Е. Салтыков (Н. Щедрин).
Опыт литературной характеристики.
«История одного города»**

<Фрагменты>

1

С переездом в 1868 году в Петербург М. Е. Салтыков, после трех лет литературного постничества, отдается литературной деятельности с такою полнотою своих неизбывных сил, что с этого момента его биография почти целиком исчерпывается журнальной работой, литературными интересами и отношениями.

«Этот уголок (литература), — исповедовался впоследствии сатирик “тетеньке”, — мне особенно дорог, потому что на нем с детства были сосредоточены все мои упования, и он, в свою очередь, дал мне гораздо больше того, что я должен был получить. Весь жизненный процесс этого замкнутого, по воле судеб, мира был моим личным жизненным процессом...» Это отождествление личной жизни с жизнью излюбленного дела усиливается с годами у Салтыкова, принимая, по его собственному признанию, такие размеры, что «заслоняет от глаз даже широкую не знающую берегов жизнь».

И действительно, людям, познакомившимся с Салтыковым в эту именно пору его окончательного переселения в Петербург, он казался живым воплощением чистой литературной мысли, и они с трудом могли представить его себе не только облеченным в вице-губернаторский мундир, но и вообще в каких бы то ни было житейских положениях. «Мне, по крайней мере, — писал Михайловский, — мне, знавшему Салтыкова в последние двадцать лет его жизни, он представляется вне литературы и литературных отношений чем-то вроде рыбы, вытащенной из воды».

Тяжелая болезнь, вскоре вплотную приковавшая Салтыкова к письменному столу, делает его еще более похожим на монаха-схимника, посвятившего себя исключительно молитвенному служению, каким, собственно, и была для сатирика литературная работа.

Считаясь с этим, я позволю на время оборвать тянущуюся с первой главы моего опыта нить биографических изысканий, чтобы ввести читателя непосредственно в круг литературных интересов сатирика. Интимная сторона жизни писателя, его биография поможет нам впоследствии ближе подойти к нему, овладеть им во всей полноте его переживаний. Но в основу нашей близости к писателю, наших личных к нему отношений мы все же должны взять прежде всего его литературное наследство. К тому же, если вообще об искусстве можно сказать, что это один из видов автобиографии, то к сатире Щедрина это положение применимо без всяких пояснений и оговорок.

Самой яркой и крупной сатирой, которую Щедрин дал в первые же годы своего вступления в «Отечественные записки», надобно признать «Историю одного города». Законченная в течение двух лет (1869–70 гг.), эта сатира сразу же приобрела широкую популярность среди читателей и, подобно «Губернским очеркам», в первый же год потребовала двух изданий. Критика также не могла не признать художественных достоинств сатиры, но в общем, за самыми ничтожными исключениями, тон ее по отношению к этой сатире был отрицательный, а в большинстве случаев и враждебный. Даже в лагере, доброжелательном сатирику, не могли не поставить ему в вину, что он позволил себе сделать объектом сатиры не современный ему строй России, а ее историческое прошлое и — что всего важнее — не пощадил в этом прошлом ни самого народа, ни ее интеллигенции.

В этом грехе упрекали сатирика западники, за этот грех предавали его анафеме славянофилы.

А между тем «История одного города» была задумана еще в 1857 году, в период славянофильских настроений сатирика, и даже подсказана была ему его славянофильствовавшим другом И. В. Павловым. Вот что писал Павлов Салтыкову в письме от 13 августа 1857 года.

«Я в последние четыре года много читал древних актов и пришел к следующему убеждению: сказание о призвании варягов есть не факт, а миф, который гораздо важнее всяких фактов. Это, так сказать, преобразование всей русской истории. “Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет”, вот мы и призвали варягов княжить и владеть нами. Варяги — это губернаторы, председатели палат, секретари, становые, полицмейстеры, одним словом, все администраторы, которыми содержится какой ни на есть порядок в великой и обильной земле нашей. Это вся наша 14-ти классовая бюрократия, это 14-ти главнейший змий поедучий, чудо поганое наших народных сказок. Все, что носит печать змия, обстоятельствами

поставлено во вражду с народностью и само по себе с ней враждует. Стоит администраторам официально признать какое-нибудь народное учреждение, так оно тотчас же... (опопелится) в глазах народа. Главная опора змия — это крепостное право, в котором закон освящает эксплуатацию человека человеком, произвол, насилие и грабеж. Всякий варяжский администратор действует, следовательно, в духе закона. Оттого бессильны все нападки на взяточничество, и Капнистова “Ябеда” и Гоголя “Ревизор” и твои очерки. Увы! Пока по закону существует крепостное право, до тех пор в сильной твердыни даже и бреши нельзя сделать».

В ответ на это письмо М. Е. Салтыков писал И. В. Павлову (от 23 авг. 1857 г.): «Твоим мифом о призвании варягов я намерен воспользоваться и написать очерк под заглавием “Историческая догадка”. Изложу ее в виде беседы учителя гимназии с учениками. В pendant этому будет у меня история о том, как Иванушку-дурака за стол посадили, как он сначала думает, что его надувают и т. д. Выйдет не дурно, только того... не посекали бы...»

Кстати, позволю себе привести здесь маленькую, но чрезвычайно характерную историческую справку по поводу этого письма Салтыкова к Павлову.

Салтыкова, конечно, не «посекли», так как статьи под названием «Историческая догадка» он и не написал. Но... но тем не менее «дело» об «Исторической догадке» все же возникло в недрах соответствующих канцелярий и породило целую административную переписку.

М. К. Лемке показывал мне сделанные им выписки из «Дела № 151. 595» канцелярии министерства народного просвещения по главному управлению цензуры об этой ненаписанной Салтыковым статье. Здесь имеется, во 1-х, «сведение» о том, что «г. Салтыков намерен написать статью под названием “Историческая догадка”, изложив ее в виде бесед учителя гимназии с учеником»; во 2-х, отпуск отношения канцелярии м-ва к попечителю московского учебного округа (22 октября 1857 г.) с предложением, в случае поступления «Исторической догадки» в московскую цензуру, «обратить на оную особенное Ваше внимание», и в 3-х, отпуск такого же отношения в С.-Петербургский цензурный комитет.

Очевидно, что этот преждевременный, совсем ненужный цензурный переполох возник вследствие присущей нашим охранительным ведомствам любви к тайнам чужой переписки (перлюстрация). Но, во всяком случае, он красноречиво свидетельствует о том, под каким придирчивым надзором протекала литературная деятельность сатирика.

Вернемся, однако, к переписке Салтыкова с Павловым.

В следующем затем письме (от 28 авг.), которое является как бы непосредственным продолжением первого, Салтыков высказывает свою точку зрения на Петра Великого и его реформу: «Я Петра признаю за великого гения, — пишет он, — а реформу его за временное политически необходимое объявление России на военном положении. В высшей степени нелепо продолжать военное положение целые века, и еще нелепее видеть в нем альфу и омегу нашего исторического развития. Чтобы шагнуть от Нарвы до Полтавы, может быть, все это и нужно было, да теперь-то не нужно!..

Ежели бы Петр I теперь восстал из мертвых, он бы их всех палкой отдул. Видишь ли, для сплочения государства и расширения его до естественных географических пределов нужна была не только военная армия, но и армия штатская, этот 14-ти головый змий поедучий, который не разделял бы интересов народа и был бы душой и телом предан начальству. Ему и грабить было необходимо — это фуражирство. Но все это на время, пока нужда была. Прошла нужда, армия распускается, расходы сокращаются. Одного, признаюсь, не понимаю — это проклятого прикрепления человека к земле. Неужели без него нельзя было обойтись? Мне кажется, Петр об этом не подумал, просто маху дал. За государством не видал человечества».

К приведенным здесь цитатам из переписки Павлова с Салтыковым следует прибавить, что тот же Павлов, рассказывая своему приятелю об известных ему администраторах, делит их, по аналогии с гувернантками, которые бывают с музыкой и без музыки. «Дурак с музыкой, — прибавляет он, — гораздо несноснее, потому что вреднее». И в этой оброненной Павловым параллели чувствуется первообраз градоначальника Брудастого, прозванного «Органчиком» за то, что в голове имел некоторое особое устройство.

Мысль Павлова, что в призвании варягов можно видеть «преобразование всей русской истории», нашла себе выражение во второй главе сатиры «О корени происхождения глуповцев». В дальнейшем развитии этой мысли вся русская история, и главным образом история XVIII и начала XIX века, преобразует собой современную русскую действительность. Эта последняя неизменно занимает мысль сатирика. Историческими фактами и историческими лицами он пользуется лишь настолько, насколько они нужны ему для широких обобщений, освещающих современную русскую жизнь. Словом, «История одного города» может и должна быть рассматриваема как *политическая* сатира. Только с этой точки зрения будут оценены бесспорные достоинства сатиры — ее уничтожающий сарказм, ее

трагический пафос; только с этой точки зрения будет объяснен ее основной недостаток, — то раздвоение демократического и национального чувства, которое, по справедливому замечанию проф. Д. Н. Овсяннико-Куликовского, «хорошо знакомо лучшим русским людям» и которое так характерно сказалось в известных словах Потугина в «Дыме»: «...я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу... я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину...» В этом раздвоенном чувстве нет — замечает Д. Н. Овсяннико-Куликовский — никакого противоречия: «можно любить народ и национальность и в то же время не мириться с теми сторонами народной и национальной психологии, которые являются опорой и, так сказать, историческим оправданием “произвола” и “дикости”»*.

Достоинства *политической* сатиры всеми своими отточенными остриями обратятся против нее самой, если подойти к ней, как к *исторической* сатире. Какой смысл высмеивает историю? И разве в своем пафосе сатирик не становится тогда похожим на того гоголевского учителя истории, который ломал стулья, рассказывая своим ученикам о походах Александра Македонского? Притом же под углом исторической точки зрения «История одного города» окажется едва ли выше той «Краткой истории России», которую сатирик некогда в Вятке скомпилировал для сестер Болгиных.

К числу тех немногих, которые сумели оценить сатиру Щедрина тотчас же после ее появления, принадлежит, между прочим, А. М. Жемчужников, рекомендовавший М. Е. издать «Историю» с иллюстрациями.

Из опасения цензурных осложнений сатирик не последовал совету, но мечтал второе издание «Истории» поручить иллюстрировать академику Ге.

Из отрицательных отзывов больше всего взволновал Салтыкова появившийся в апрельской книжке «Вестника Европы» за 1871 год за подписью А. Б-ов и под заглавием «Историческая сатира» столько же хлесткий, сколько и ядовитый разбор «Истории одного города». А. С. Суворин — действительный автор этой критической статьи, можно сказать, камня на камне не оставил от сатиры Щедрина. Время оказалось справедливее — оно сохранило нам сатиру, но камня на камне не оставило от статей негодующего критика, чем и наказала этого последнего за ложно поставленный им исходный пункт критики. К «Истории одного города» нельзя подходить с исторической оценкой.

* Д. Н. Овсяннико-Куликовский. «История русской интеллигенции», часть 2-я, стр. 29.

Но то, что так ясно, так бесспорно в наши дни, было далеко не ясным в момент появления сатиры. Статья Суворина пришлась по сердцу многим, в числе которых были даже друзья сатирика. «Скажите, — писала М. М. Стасюлевичу 24 апреля 1871 года Н. Д. Зианчковская-Хвощинская, — кто автор статьи о Салтыкове, г. А. Б-в? — В моей скромности можете быть уверены, но мне очень любопытно знать, кто это сошелся не только во мнении, но в словах и выражениях заодно со мной?»

Г-жа Л. Спасская, дочь вятских друзей сатирика Николая Николаевича и Софьи Карловны Иониных*, с которыми Салтыков, по выезде из Вятки, поддерживал дружескую переписку, свидетельствует, что в отношении к сатирику ее отца «История одного города» сыграла даже очень печальную роль. Эта сатира — утверждает г-жа Спасская — «возмутила моего отца, знатока и любителя русской истории... Такое издевательство над всем дорогим его сердцу, как “История одного города”, не могла пройти для него бесследно... Сожалея о нем, отец все же не мог с ним примириться и с этих пор не писал Михаилу Евграфовичу ни слова...»**

Не удивительно поэтому, что статью А. Б-ова сатирик принял слишком близко к сердцу и в письме к А. Н. Пыпину (2 апреля 1871 г.) счел долгом пункт за пунктом опровергнуть ее¹. <...>

Как видно из пометки, сделанной на этом письме А. Н. Пыпиным, он в тот же день поспешил ответить Салтыкову, сообщив ему, между прочим, и подлинную фамилию скрывшегося под псевдонимом автора статьи. Салтыков, в свою очередь, не замедлил ответом² <...>.

Отстаивая в первом письме к Пыпину, как и в «письме в редакцию», все свое произведение в целом, сатирик посвящает защите главы «о корени происхождения глуповцев» несколько отдельных строк. А между тем эта именно глава на самом деле является самым слабым местом сатиры. Очевидно, смутная мысль Павлова, положенная в ее основу, не перебродила в сознании художника и, оставаясь чужой, не нашла в нем достаточно яркого и живого образа. Конечно, слабость этой главы не в названьях (головотяпы, рукосуи и проч.) — пользоваться из сокровищницы народного юмора сатирик имел полное право. Слабость ее в том, что действия головотяпов

* Н. Н. и С. К. Ионины фигурируют в «Губернских очерках» под именем Василия Николаевича и Веры Готлибовны Прониных. Это — единственные лица из всего «крутогорского» общества, о которых сатирик отзывался только с хорошей стороны.

** Л. Спасская. «М. Е. Салтыков». Вятка. 1905 г.

(они же глуповцы) ничем не мотивированы и поэтому совершенно лишены того «преобразовательного» значения, которое сатирик намеревался им сообщить. Откуда головотяпы приобрели «привычку» тпаться головами обо все, что бы ни встретилось им на пути? Зачем, собственно, понадобился им князь? Почему умный князь отказался владеть ими и отослал их к глупому?... Все это вопросы, на которые сатира не дает ответа. И надо думать, что таким «преобразованием» истории был неудовлетворен сам сатирик. По крайней мере, несколько лет спустя он снова возвращается к той же исторической легенде и на этот раз дает ей в автобиографии Очищенного — новое и остроумное истолкование.

По этой последней версии новгородец Добромысел Гадюк, прежде других возымевший мысль о призвании варягов, обстоятельно обосновывает ее на вече. «С незапамятных времен, — сказал он, — варяги учат нас уму-разуму: жгут города и села, грабят имущества, мужей убивают, жен насилуют, но и за всем тем ни ума, ни разума у нас нет». Происходит это, по мнению Гадюка, оттого, что варяги действуют без всякой системы: «грабят не чередом, убивают не ко времени, насилуют — не по закону». Необходимо эти порядки систематизировать, узаконить их. И вот тогда именно дрогнули сердца новгородцев, и они решили отправить к варягам посольство и сказать им: «господа варяги! чем набегом то нас разорять — разоряйте вплотную: грабьте имущество, жгите города, насилуйте жен, но только, чтобы делалось у нас все это на будущее время... по закону!»*.

О «преобразовательном» смысле этой версии можно судить по тому уже, что Щедрина в его сатирах не однажды приходилось обращаться с увещеваниями к нашим либералам, которые приходят в неумеренные восторги при каждом слухе о предстоящем будто бы переименовании каких-нибудь административных скорпионов в скорпионы судебные. Сатирик никогда не мог признать, что узаконение той или иной формы существующих репрессий способно благотворным образом отразиться на судьбах российского обывателя.

II

Итак, в пестрой ткани «Истории одного города» исторические данные — летопись Глупова — была основой, в которую сатирик ввел яркий уток намеков, параллелей и лирических отступлений, полных современного животрепещущего интереса. И, как поясняет

* «Современная Идиллия», т. 11, стр. 95.

сам он в предисловии, — содержание летописи не могло не положить поэтому известной печати на форму всего произведения. Во-первых, содержание летописи довольно однообразно: оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников и приемами их воздействия на глуповцев. Правда, приемы эти почти у всех градоначальников тождественны: все они секут обывателей, но и в этом можно указать оттенки. Одни градоначальники секут абсолютно, другие объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтобы обыватели во всем положились на их отвагу. Соответственно этому и обыватели реагируют на градоначальнические мероприятия не совсем одинаково: в первом случае они трепещут бессознательно, во втором — трепещут с сознанием своей собственной пользы, в третьем возвышаются до трепета, исполненного доверия.

Во-вторых, содержание летописи — утверждает сатирик — по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Сатирик, однако, не счел себя вправе утаить эти фантастические подробности. В другом месте он с полным основанием замечает, что на самом деле небывальщина гораздо чаще встречается в действительности, нежели в литературе. Литературе слишком присуще чувство меры и приличия, что бы она могла взять на себя задачу с точностью воспроизвести карикатуру действительности*.

В самом деле, при всей фантастичности градоначальнических фигур сатиры, при всей невероятности их подвигов, которые в глазах иностранного читателя могут показаться даже грубо шаржированными сатириком, мы для каждого из зарисованных им типов легко найдем даже в нашей современности укладывающийся в нее образ; для каждого отмеченного сатириком градоначальнического выступления легко припомним соответствующий «оправдательный документ».

Клементий, внезапно произведенный в градоначальники за искусную стряпню макарон; Бородавкин, истребивший тридцать три деревни для взыскания с них двух с полтиной недоимки и готовящий скоровоспалительные материалы для сожжения всего города; француз Дю-Шарио, начавший с объяснения глуповцам прав человека и кончивший объяснением прав Бурбонов; Беневоленский, со своей почти конституцией, которая до мелочи регламентировала каждый шаг глуповцев и лишь «в остальном» предоставляла поступать «по произволению»; Негодяев, которому было решительно все равно, что

* «Помпадурсы и помпадурши», т. 3, стр. 252.

ни насаждать в Глупове; что-то обещавший, но в сущности растленный властью Грустилов. Все это фигуры администраторов не одного только XVIII века. Они живут и в наше время, поскольку живучи общие условия, создающие благоприятную почву для произвола.

Глуповским градоначальникам ничто не мешало развернуться. Они были — говорит сатирик — «хозяевами», тогда как обыватели считались только их «гостями». Разница между хозяином в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно хозяина обыкновенного приличиями не допускается. Обладая полнотою власти, они имели дело с населением, воспитанным веками насилия и рабства. И при отсутствии сколько-нибудь надежного контрольного аппарата, сам закон не только служит началом, сдерживающим порывы разохотившейся власти, но, напротив, является источником для нее новых сладостных проявлений. Ибо там, где бездействует контроль над исполнительной властью, там неизбежно действует сочиненный Бородавкин устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф этого устава гласит: «ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».

Логическим завершением всей этой коллекции является градоначальник Угрюм-Бурчеев. Сатирик с неподражаемым мастерством написал эту почти нечеловеческую фигуру. Законченный образ Угрюм-Бурчеева производит потрясающее впечатление и никогда не забывается читателем «Истории одного города». На портрете он изображается так: «Одет он в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы и держит в правой руке сочиненный Бородавкин «Устав о неуклонном сечении», но, по-видимому, не читает, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху вместо неба нависла серая солдатская шинель...»

«Портрет этот, — добавляет сатирик, — производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение». Сам летописец, вообще довольно благосклонный к градоначальникам, не может скрыть чувства страха, приступая к описанию его личности. Он вспоминает о виденной им картине, на которой изображен Сатана. «Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особой страсти

к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества». Вот это-то «нарочитое упразднение естества» и пугает летописца в Угрюм-Бурчееве.

<...>

Современная Салтыкову критика даже в скульптуре колоссального монумента Угрюм-Бурчеева нашла серьезные недостатки. Опираясь на некоторые определенные черты этой фигуры, критика настаивала на тождестве ее с исторической личностью Аракчеева. За эту догадку говорила даже намекающая фамилия, данная сатириком своему герою. Угрюм-Бурчеев тождествен Аракчееву. И раз это так, то сатирик, изображая последнего, допустил большую ошибку, идеализируя человека, доподлинная сущность которого вполне установлена историей. Сатирик, именно, наделил Угрюм-Бурчеева необыкновенно сильной волей, которую тот закалял постоянными упражнениями аскетического характера: спал на голой земле, с камнем под головой, был страшно воздержан в пище и т. п. Совсем не таков был Аракчеев, который, надев на себя личину «без лести преданного» раба, прекрасно устраивал свои личные делишки и под спартанской внешностью скрывал от своих покровителей полнейшую нравственную разнузданность и презренную трусость.

Однако как раз именно по отношению к фигуре Угрюм-Бурчеева можно установить полную несостоятельность подобной исторической оценки. Правда, Угрюм-Бурчеев больше, чем все остальные персонажи сатиры, вместе взятые, напоминает историческую личность, но и за всем тем ни в каком случае нельзя сказать, что Угрюм-Бурчеев повторяет Аракчеева. И если говорить о повторении, то надо было бы это повторение вывернуть наизнанку. Угрюм-Бурчеев это — последнее слово абсолютизма. Это последний предел, до которого только может прийти абсолютизм в логическом развитии своего безумного отрицания творящей жизни и мысли. Дальше этого идет только всенивелилирующая смерть. И только о ней, о смерти мог говорить Угрюм-Бурчеев, когда с суровой скромностью заявлял: «Идет некто за мною, который будет еще ужаснее меня». К нашему счастью, этот «некто» не пришел вслед за Аракчеевым. Но, когда читаешь последнюю главу «Истории одного города», потрясенная мысль невольно обращается к «всевыносящему русскому племени»: ведь его история действительно повторила ужасающую фигуру Угрюм-Бурчеева, ведь она, выдвинув на авансцену Аракчеева, действительно близка была к тому, чтобы страна, как на известной уже нам картине, замерла и превратилась в пустыню с острогом посередине и с солдатской шинелью вместо неба...

Милый жалкий глуповец! Как же умудрился ты живым пройти свой злосчастный исторический путь? Как перенес ты на своих окровавленных плетью и шпицрутенами плечах всех этих Пфейферов, Брудастых, Бородавковых и даже самого Угрюм-Бурчеева? Или, может быть, — «своя ноша легка», — и ты просто не почувствовал их подавляющей тяжести?

Как мы знаем из письма к Пыпину, Салтыков «не мог сочувствовать» глуповцу. Не удивительно поэтому, что сатира его, больно ударив одним концом представителей властвующей над Глуповым силы, другим — жестоко обрушилась на самого несчастного глуповца.

Еще только узнав о назначении к ним Брудастого, глуповцы начали ликовать. Они заранее рассказывали о нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». Явились даже опасные мечтатели, которые утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусства. Глуповцы ждали от нового начальника обходительности и приветливости. Они любят и ценят эти свойства в начальниках. Между тем Брудастый оказался молчалив и угрюм. Еще при въезде, на границе города, он пересек уйму ямщиков, а на первом приеме, безмолвно обойдя ряды представлявшихся, произнес вдруг: «не потерплю!» и скрылся в кабинете. Глуповцы приуныли. Когда же открылось, что у градоначальника вместо головы опустошенный сосуд, то заволновались, многие плакали, почувствовав себя сиротами. Стали искать корней измены и приписали это событие интригам лондонских агитаторов. Вскоре, однако, к туловищу Брудастого приделана была новая голова с новым органчиком. И когда Брудастый, после продолжительного молчания, крикнул «раззорю!», глуповцы сразу же затихли и стали выбирать из своей среды зачинщиков для представления их по начальству (Глава IV).

После удаления Брудастого Глупов на некоторое время становится ареною смут. Явились честолюбивые женщины, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своих эгоистических целей. Глуповцы, вовлекаемые в партийные раздоры, неистовствовали, истребляя друг друга. Но с назначением нового градоначальника, жизнь города немедленно же вошла в свою обычную норму (Глава V).

В градоначальствование бригадира Фердыщенко случился в Глупове голод. В обычное время терпеливые и покладливые, глуповцы, под влиянием разразившегося над ними бедствия, стали роптать. «Наступила минута, когда заговорило брюхо, против которого всякие

резоны оказываются бессильными». Фердыщенко понимал серьезность положения и видел, что «тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб, либо... команда!» Как и все добрые начальники, он допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием, но мало-помалу окончательно утвердился на ней. Выбрали глуповцы ходоком к Фердыщенко старика Евсеича. И когда арестованного Евсеича вели по улицам в тюрьму два престарелых инвалида, глуповцы расступались и говорили: «Небось, Евсеич, небось! с правдой тебе везде будет жить хорошо!» Но освободить Евсеича никто не решался, и старик исчез, «исчез без остатка, как умеют исчезать только “старатели” русской земли». Стали глуповцы просьбы писать в разные места, а бригадир между тем, усмотрев в этом непорядок, занялся вылавливанием злоумышленников.

Поймает одного, а тот сейчас же целую кучу других злоумышленников выдаст. И потихоньку, с помощью двух инвалидов, бригадир перетаскал таким образом на съезжую почти весь город. Голод от этого не уменьшился, и раздраженные глуповцы учинили кровавое насилие над бригадирской Аленкой, которую одну винили в своих несчастьях. Их «усмирили» (Глава VII).

В эпоху «войны за просвещение» при Бородавкине, который насильственным путем вводил в употребление горчицу и лавровый лист, глуповцы оказали пассивное сопротивление: «энергии действия они с большой находчивостью противопоставили энергию бездействия». Бородавкин жестоко покарал их за эту строптивость. И глуповцы навсегда испугались и за себя, и за детей своих (Глава X).

Словом, из рассказа «летописца» видно, что глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их политической зрелости: они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. «Никто не станет отрицать, что эта картина не лестная, но иная она не может быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может придти к другому результату кроме ошеломления... Тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка... С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкрававшаяся издалека и успевшая организовать и окрепнуть, с другой — рассыпавшиеся по углам и всегда настигаемые врасплох людишки и сироты... Против силы нет возможности бороться, и вот глуповцы возложили все упование

на будущее. Они твердо переносили самые ужасные бедствия, потому что последние представлялись им независимыми от их воли, и, следовательно, неотвратимыми. Самым крайним проявлением строптивости среди них было — спрятаться; об открытой же борьбе никто не смел и подумать» (Глава XII).

Так продолжалось вплоть до назначения в Глупов Угрюм-Бурчеева. При первом же взгляде на нового градоначальника в среду глуповцев прокрался незримый ужас и овладел всеми. Они беспрекословно исполняли его приказания о сломке города и запружении реки. Многие разинули рты, чтобы взроптать на приказ запрудить реку, но Угрюм-Бурчеев даже не заметил этого. И только после того, как старый город был сломан и работы по сооружению нового города пришли к концу, изнуренные, обруганные и уничтоженные глуповцы вдруг устыдились. «Грудь захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришел неведомо отколь и с неисповедимой наглядностью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему». Мысль, что шаганье, которым он хочет заменить жизнь, бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимой. Раздражение росло. Всякая минута казалась глуповцам удобной для освобождения и всякая же минута казалась преждевременной. И когда начавший что-то подзревать. Угрюм-Бурчеев издал приказ о назначении шпионов, чаша терпения глуповцев переполнилась...

В каких формах вылился бы гнев глуповцев и что он принес бы им, — смерть или освобождение, — об этом сатирик умалчивает, ибо здесь говорит он — «история прекратила течение свое»...

Народолюбивые критики, не устававшие упрекать Щедрина за его неуважительное отношение к народу, проглядели, что здесь, в этом заключительном моменте истории Глупова, сатирик в своем искреннем народолюбии оставил всех их далеко позади себя. Здесь он на мгновение бросил в сторону свой сатирический бич и более или менее откровенно раскрыл свои мечты, свои симпатии и упования. Здесь на мгновение предстал перед читателем народ — единый и целостный в своем пробуждении. И первым чувством пробудившегося народа был стыд за свое вековое порабощение, а вторым — гнев. Не та бессильная вспышка раба, которая находит себе полное удовлетворение в нелепой расправе с какой-нибудь бригадирской Аленкой, а страшный народный гнев, — гнев, за которым следует буря, от которого колеблется земля и меркнет солнце. Таким представлялся Щедрину «народ в идее», — народ, с которым он раз и на-

всегда связал себя прочными узами своей страстной и действительной любви, всей основой своего демократического мирозерцания. Вслед за Герценом Щедрин мог с полным основанием сказать и о себе, что «господствующая ось, около которой шла наша жизнь, — это наше отношение к народу, вера в него, любовь к нему и желание деятельно участвовать в его судьбах» («Письмо к противнику»). Потому что и в этих словах Герцена разумеется «народ в идее». Что же касается «исторического народа», то о нем Герцен позволяет себе отозваться иначе. «Я готов, — говорил он, — защищать самую грубую антропофагию; если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть, — пусть ест. Они стоят того: один, чтобы быть людоедом, другой, чтобы быть кушанием...» И если даже в сознании этого проповедника мессианистического призвания русского народа отношение к народу могло раскалываться на две самостоятельные части, то и Щедрин мог быть бичующим сатириком народа, сохраняя к нему «в идее» искреннюю и глубокую любовь.

«Народ исторический» от «народа в идее» отделялся огромным расстоянием. От одного до другого путь был длинный, а главное, неясный, загадочный. Мелкие собственники, разобщенные друг от друга условиями производства, чуждые сознания своих коллективных интересов и не приспособленные к коллективной деятельности, они жили рядом, друг для друга чужие, подчиняя все свои чувствования, все свои помышления одному инстинкту самосохранения. Это были глуповцы, над судьбою которых горько смеялся и плакал сатирик в «Истории одного города».

В сатире попадают места слабые, неясные. К ним вместе с названною выше главою «О корени происхождения глуповцев» следует отнести «Сказание о шести градоначальницах». В этой последней главе замысел автора только нащупывается, и кажется, что автор как будто умышленно запутывает его ненужными подробностями. Опасения цензурного свойства, долго удерживавшие Салтыкова от выполнения давно задуманного им плана, тяготели над автором и во время самой работы, и этим, только этим надо объяснить отдельные неудачные страницы все же блестящего в целом и до сих пор никем не превзойденного первого опыта политической сатиры.

III

За три года до смерти Салтыков говорил Л. Ф. Пантелееву, что сохранились первоначальные корректуры «Истории одного города», которая в печати вышла будто бы с большими сокращениями.

К сожалению, неизвестно, кто же владеет теперь этими корректурами и почему они до сих пор не использованы³.

В моем распоряжении находились первоначальные черновые наброски нескольких глав «Истории одного города», десять мелко исписанных сатириком листов. Сравнивая эту рукопись с печатными текстами, — в «Отеч. записках» (1869–1870 гг.) с одной стороны, и в отдельном издании, в «Полном собрании сочинений М. Е. Салтыкова», с другой, — можно прийти к следующим выводам.

Как и относительно всех больших произведений Щедрина, об «Истории одного города» следует сказать, что, задуманная в самых общих чертах, она слагалась в творческой фантазии сатирика постепенно, причем план ее все время подвергался существенным изменениям.

Об изменениях, которым подвергался план «Истории» лучше всего можно судить по «Описи градоначальникам», которая, между прочим, в рукописи называлась так: «Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов от *российского правительства* поставленным».

Подчеркнутые мною слова в «Отеч. записках» были выкинуты, а в отдельном издании заменены словами: от «вышнего начальства». Конечно, эта выкидка, как потом и замена одних слов другими, была вызвана цензурными соображениями. Этими же последними объясняются, очевидно, и некоторые другие разночтения в рукописи сравнительно с печатным текстом. Так, например, первый из «Оправдательных документов» назывался в рукописи: «Краткое размышление о необходимости *губернаторского* единомыслия, а также о *губернаторском* единодержавии и о прочем». В печатном тексте губернаторы всюду заменены градоначальниками, которых, к счастью для сатирика, в ту пору как раз и не существовало. Положение о С.-Петербургском градоначальстве издано в 1873 году, т. е. 4 года спустя после того, как «История одного города» начала печататься в «Отеч. записках», почему градоначальники и прошли благополучно сквозь строй цензорских придирок.

Таковыми же причинами вызвана замена фамилии Ираиды Лукинишны Багрянородной в «Сказании о шести градоначальницах». Для печати фамилия Багрянородной оказалась неуместной, хотя «летописец» в примечании, сделанном в рукописи, и оговорил, что фамилия эта была дана мужу Ираиды Лукинишны в семинарии, «в значение того, что у него были рыжие волосы и лицо багряное». Примечание не спасло Багрянородную, и в печатном тексте она фигурирует уже под фамилией Палеологовой.

Возвращаюсь к «Описи градоначальникам», которая представляет собою нечто иное, как краткий конспект или, точнее, план «Истории одного города».

Рукопись «Описи градоначальникам» отличается от «Описи», известной читателям по отдельному изданию «Истории одного города», чрезвычайно существенными чертами. Гораздо ближе подходит она к тексту «Отеч. записок» (1869 г., № 1, стр. 284–287), хотя и здесь бросаются в глаза различия, указывающие, в какой постепенности создавался сатириком план «Истории».

Пользуясь рукописью, я приведу те характеристики градоначальников, которые отличаются от последнего (по отдельному изданию) печатного текста, отмечая в примечаниях различия в «Отеч. записках». Номерация градоначальников точно так же приводится здесь по рукописи:

5) *Ламврокакис*, беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина. Торговал грецким мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования и в официальных сношениях употреблял папирус*. В 1756 году был найден в постели, искусанный клопами.

12) *Бородавкин*, Василий Семенович. Градоначальство сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и с помощью сих мер взыскал недоимок два рубля с полтиною. *В прочее время был кроток и покровительствовал наукам.* Ввел в употребление игру ламуш и прованское масло; замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом. *Будучи телосложения крепкого, имел последовательно восемь амант, но и сими редко удовлетворялся. Супруга его София Владимировна была весьма снисходительна, и тем с излишеством способствовала блеску его правления.* Умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый одним капитаном-исправником, *не выслужив пенсiona**.*

13) *Негодяев*, Онуфрий Иванович, бывший гатчинский истопник. Размостил вымощенные его предместниками улицы и из добытого

* Вместо выражения: «в официальных сношениях употреблял папирус», в «Отеч. записках» поставлено: «в супружеской жизни руководствовался Анакреоном». Оба эти выражения в отдельном издании отсутствуют. — *Вл. Кр.*

** Подчеркнутые фразы и слова отсутствуют в отдельном издании. «В Отеч. записках» текст в общем соответствует рукописи, но после слов «продолжительное и самое блестящее» в журнале есть вставка: «Был мудр и словоохотлив и оставил после себя многие сочинения». — *Вл. Кр.*

камня настроил монументов. *Имел ноги, обращенные ступнями назад, вследствие чего, шедши однажды пешком в губернское (сверху надписано: «городовое»). — Вл. Кр.) правление не токмо к цели своей не пришел, но, постепенно от оной удаляясь, едва совсем не убежал из пределов, но был изловлен на выгоне капитан-исправником и паки водворен в жительство.* Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгановым (знаменитый в свое время триумvirат) насчет конституции, в чем его и оправдали впоследствии*.

14) *Перехват-Залихватский*, Архистратиг Стратилатович, майор. Прозван был от глуповцев «Молодцом» и действительно был оным. Все возмущения усмирил, все недоимки собрал, все улицы замостил и ходатайствовал об основании кадетского корпуса, в чем и успел. Ездил по городу, имея в руках нагайку, и любил, чтобы у обывателей были лица веселые. Спал под открытым небом, имея в головах булыжник, курил махорку и питался кониной. Спалил до шестидесяти деревень и во время вояжей порол мужиков без всякого послабления. Вновь изгнал из употребления горчицу, лавровый лист и прованское масло и изобрел игру в бабки. Хотя наукам не покровительствовал, но охотно занимался стратегическими сочинениями и оставил после себя многие трактаты. Явил собою второй пример градоначальника, умершего на экзекуции (1809 г.) **.

17) *Груздев*, майор, Иван Пантелеич, прозванный «Органчиком». Замечательный сей правитель заслуживает особого внимания. Разбился в прах при падении с лестницы в 1816 году***.

* Подчеркнутое отсутствует в отдельном издании. — *Вл. Кр.*

** В «Отечеств. записк.» к этой характеристике Перехват-Залихватского, после слов: «порол мужиков без всякого послабления», добавлено: «Утверждали, что он отец своей матери». В отдельном издании вся эта характеристика Перехват-Залихватского по причинам, о которых я скажу ниже, отсутствует. По описи он поставлен не 14-м, как в рукописи и в журнале, а 22-м, последним, — и о нем коротко сказано: «майор. О сем умолчу. Въехал в Глухов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки».

*** Груздев совершенно отсутствует и в «Отечеств. записках», и в отдельном издании. Имя и отчество Ивана Пантелеича усвоено в печати градоначальнику Прыщу, который по описи значит: в «Отечеств. записках» — под № 17, а в отдельном издании — под № 16. «Органчиком» же в печатных текстах называется градоначальник Брудастый, Дементий Варламович, по описи № 8, о котором сказано: «Назначен был впопыхах и имел в голове некоторое особое устройство, за что и прозван был «Органчиком». Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предшественником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся семь дней, как о том будет повествуемо ниже». — *Вл. Кр.*

18) *Прыщ*, Александр Аркадьевич, статский советник. Бывший коных гр. Аракчеева. Имел совершенно круглую голову и семь дочерей, кои постоянно глядели в окна. Сверх того, будучи слюняв, ко всем лез лизаться. Не верил в гласные суды и в земство и охотно брал в займы деньги. Доносил. Супруга его, Полина Александровна была великая сплетница и ела печатные пряники. Умер в 1814 году от глупости*.

Последним градоначальником по рукописной описи значился «*Стопнаков 7-й, Онуфрий Карлович, майор*», которого нет ни в «Отечеств. записках», ни в отдельном издании и о котором сказано в рукописи: «О сем, как о предержавшем, умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки».

Уже из этого беглого сравнения рукописной «Описи» с ее печатными текстами видно, каким постоянным колебаниям подвергался план «Истории одного города» по мере того, как сатирик сживался с задуманной им темой. Перетасовывались отдельные фигуры градоначальников, причем иногда коренным образом изменялись их характеристики; выпадали одни фигуры, на их место ставились другие, которые раньше не входили в план художника. Углубляясь в его творческую лабораторию, можно проследить даже, как из одного сложного и несколько неопределенного образа неожиданно вырастают две разных фигуры, которые, в окончательной отделке, поражают четкостью своего рисунка и яркой законченностью характеристик.

Для иллюстрации позволю себе привести из чернового наброска сатирика отрывок, в котором изображается градоначальник с фаршированной головой:

«Однажды, когда градоначальник забыл весь мир за чтением недоимочных реестров, предводитель неслышными шагами вошел в кабинет и подкрался к письменному столу. Быстрым движением руки сбросил он с градоначальниковой головы парик и, отрезав от нее ломоть довольно значительной величины, немедленно его проглотил. Завязалась борьба; градоначальник чувствовал себя оскорбленным и ссылался на какие-то права; но предводитель вошел в ярость и не помнил себя; глаза его сверкали, брюхо сладострастно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника “душенькой”, “мил-

* Как уже сказано в предыдущем примечании, в печати Прыщ фигурирует под именем Ивана Пантелеича и — добавлю здесь — имеет чин майора. В отдельном издании о нем коротко сказано: «Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства». В «Отечеств. Записках» к этому было добавлено: «Имел жену, питавшуюся печатными пряниками, и семь дочерей, которые, сидя перед окнами, высматривали проезжающих и восклицали: «женихи, женихи едут!» — *Вл. Кр.*

кой” и другими, неприличными его сану ласкательными именами; он лизал его, нюхал и т. д. Естественно, что при такой восторженности чувств градоначальник должен был изнемогнуть и пойти на компромисс. Решено было, что предводитель получает право лакомиться градоначальниковой головой невозбранно, но с тем, чтобы: а) как только старая голова будет съедена, то на предводительский счет приобрести немедленно из московского гастрономического магазина Мора другую, совершенно такую же и притом изготовленную из припасов свежих и не долголежалых, и б) о происшествии сем отнюдь не доносит по начальству, дабы сие последнее не имело повода обвинить его в том, что он не оправдал его доверия.

Затем, градоначальник как ни в чем не бывало вновь принялся собирать недоимки, пушить и распекать квартальных, принимать по табельным дням и утверждать резолюции. И никто не замечал.

Такое положение вещей могло бы продолжиться на неопределенное время, без всякого для казны ущерба, если бы предводитель не оплошал. Видя, что градоначальниковой голове приходит конец, он, по точной силе контракта, хотя и заказал у Мора другую градоначальническую голову, но при этом упустил сделать зависящие распоряжения, чтобы заказ был доставлен своевременно. Вследствие этого произошло следующее. Секретарь градоначальника, вошедши однажды утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в виц-мундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на тарелке, лежали приправленные укусом обрезки градоначальниковой головы. Никого в кабинете не было, ибо предводитель, съевши последний кусок, сам испугался и бежал. Секретарь выбежал из кабинета в таком смятении, что зубы стучали. Он врал всякую чушь; уверял, что градоначальник, съевший на своем веку более десятка квартальных, съел, наконец, без масла свою собственную голову. Очевидно, он забыл, что для того, чтобы это сделать, градоначальнику нужно было, по малой мере, иметь эту самую голову на плечах.

Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинив его в нерадивости, и, указывая в окно на кучу навоза, красовавшуюся перед самым окном градоначальника, спросил: это что? Но квартальный оправдывался. Он не без основания указал на обрезки градоначальниковой головы, как на достоверное доказательство, что голова эта съедена, а не похищена. Сверх того, он утверждал, что голова могла быть съедена не иначе, как с согласия самого градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий

к высшему обществу, так как на столе не было ни графина с водкой, ни другой обстановки, обличающей присутствие “подлого элемента”. Призвали на совет главного городского врача и предложили ему два вопроса: 1) Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? и 2) Возможно ли допустить предположение, что градоначальник съел свою собственную голову? Эскулап задумался, но от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована*.

Неслыханная вещь об исчезновении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и, сверх того, боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах, вместо головы, был съестной припас. Напротив, другие, хотя тоже плакали, но утверждали, что за повинение их ожидает не кара, а похвала».

Если этот отрывок подвергнуть внимательному изучению, то весь он окажется сделанным как бы из отдельных мозаичных частей, среди которых, рядом с оригинальными вставками, попадают хорошо нам знакомые места, — иногда с небольшими вариантами, — из «Органчика», а также из «Эпохи увольнения от войн», т. е. собственно из той ее заключительной части, в которой говорится о градоначальстве Ивана Пантелеича Прыща.

Очевидно, что здесь мы имеем дело с первоначальным черновым наброском, задуманную в котором фигуру градоначальника Щедрина впоследствии, при дальнейшей разработке сюжета, нашел целесообразным показать в двух ее возможностях, — в виде фаршированной головы Прыща и в виде приспособленного к простейшим административным распоряжениям «органчика» градоначальника Брудастого.

Желание конкретизировать отдельно оба эти типа административных деятелей как бы само собою подсказывалось концом приведенного выше отрывка. Потому что история с фаршированной головой в первоначальном замысле Щедрина заканчивалась так же, как заканчивается ныне история с «Органчиком», — столкновением двух соперников. У одного из них голова была совершенно новая, со свежим фаршем от Мора, у другого она оказалась начиненной, вместо трюфелей, предписаниями начальства. Вот эта-то последняя начинка и могла дать

* Ныне доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое человеческое тело, но не следует забывать, что в 1762 г. наука была в младенчестве. — *Изд.*

повод сатирику выделить в особый очерк тип «Органчика», гораздо раньше еще к тому же подсказанный ему Павловым.

Из всех перемещений и изменений, которым в процессе творчества подвергалась «Опись градоначальникам», больше всего поражает то, что в первых редакциях «Описи», т. е. и в рукописной, и в той, которая напечатана в «Отечеств. записках», отсутствует самая яркая фигура «Истории одного города», — Угрюм-Бурчеев.

Как это могло случиться?

Нет никакого сомнения в том, что страшный образ Угрюм-Бурчеева первоначально не входил в план сатиры. Он самостоятельно выпятился и вырос из нее, как неизбежное логическое завершение того политического строя, который Щедрин сделал предметом своей сатиры. Совершенно не имея в виду Угрюм-Бурчеева, Щедрин не мог не закончить им «Истории одного города», потому что угрюм-бурчеевщина — действительно неустрашимый эпилог истории абсолютизма, ее железная необходимость.

Некоторый намек на Угрюм-Бурчеева чувствуется отчасти в фигуре Перехват-Залихватского, в том его изображении, какое дано в первых редакциях «Описи». Но все же это только намек, бледный и неясный, расплывающийся в противоречащих друг другу пояснениях. К тому же и в рукописи, и в «Отечеств. записках» Перехват-Залихватский, отмеченный по «Описи» четырнадцатым номером, является случайным эпизодом «Истории», а не завершением ее. И это последнее обстоятельство не могло не остановить сатирика, когда, следуя установленной им логической, а не хронологической последовательности «Истории», он должен был в «Отеч. записках» от Негодяева, числившегося под № 13, подойти вплотную к Перехват-Залихватскому.

Тогда (в 3-й кн. «Отеч. записок» 1870 г.) он шуткою отмахнулся от Перехвата-Залихватского.

«По краткой описи градоначальникам, — оправдывался здесь сатирик, — следом за Негодяевым показан майор Перехват-Залихватский. Но исследования г. Пыпина показывают, что это неверно, ибо в столь богатое либеральными начинаниями время едва ли возможно допустить существование такого деятеля, как Перехват-Залихватский. Скорее всего можно допустить, что последний принадлежал к так называемой Аракчеевской эпохе, т. е. к тому времени, когда вновь ощутилась потребность в войнах и когда начальники, питавшиеся кониной и курившие махорку, были не редкость. Очень может быть, что последний архивариус, составляя краткую опись, перемешал тетрадки и таким образом поставил Перехват-Залихватского впереди Миколадзе, Прыща и т. д. ...»

Таким образом, сатирик здесь только отодвинул Перехват-Залихватского, но не отделался от него. И в следующей, четвертой книге «Отеч. записок», «Эпоха поклонения мамоне и покаяния» заканчивается грозным появлением опять того же Перехват-Залихватского, который «вперил в толпу оцепеняющий взор»...

Однако, пять месяцев спустя, когда сатирик (в 9-й книге журнала) должен был, наконец, показать этого администратора во всем его ужасном величии, он еще раз отмахнулся от него и, снова сославшись на путаницу в «Описи градоначальникам», выдвинул на политическую арену Угрюм-Бурчеева.

«Что же касается до Перехват-Залихватского, — оправдывается здесь Щедрин, — то существование его хотя и не подлежит спору, но он явился позднее, т. е. в то время, когда история Глупова уже кончилась, и литература даже не описывает его действий, а только дает почувствовать, что произошло нечто более, нежели то *обыкновенное*, которое совершалось Бородавкиными, Негодяевыми и проч.».

Перехват-Залихватский оказался лишним, ненужным сатирику. И если в последней редакции «Истории одного города» о нем все же сохранилось воспоминание, в виде краткого указания «Описи», то и этот след можно рассматривать лишь как дань первоначально задуманному плану сатиры. Но, конечно, сатира только выиграла бы, если бы вместо завязнувшего в ней Перехват-Залихватского, «Опись градоначальникам» заканчивал, как в рукописи, Столпаков 7-й, со скромным замечанием летописца: «о сем, как о предержавшем, умолчу». Потому что «предержавшим» еще нет мест в «Истории».

